

П. Бенацерраф

ФИЛОСОФИЯ В АМЕРИКЕ В 50 И 60 гг.

Benacerraf P. What Mathematical Theories Could not Be // Benacerraf P. & Putnam H. (eds.). Philosophy of Mathematics. – Cambridge University Press, 1983.

При описании ситуации с аналитической философией для меня очень важен приведенный ниже фрагмент из статьи одного из ведущих философов математики Поля Бенацеррафа. Это удивительная фигура в философии – им написано лишь несколько статей и ни одной книги, но влияние его огромно. Этот сборник не место для экскурсий в область философии математики, и поэтому я не упоминаю, какое важное место его работы занимают в моей профессиональной деятельности как философа математики. Но само по себе его видение того, как аналитическая философия заняла ведущее место в Америке, и некоторые намеки на последовавший скепсис в отношении того, как эта философия не должна была развиваться, поразительно информативны. Его трудно читать, поскольку он очень тщателен в тонкостях, и как это часто бывает в отношении таких людей, от него ждешь такой целой книги.

Я лишь однажды видел Бенацеррафа и разговаривал с ним в 1970-х. У меня было такое впечатление, что он прекрасно понимает ситуацию человека, который пытается заниматься аналитической философией в Советском Союзе. Во всяком случае, его жаргон в этом отношении показателен. Хотя в приведенном отрывке он говорит о книге Айёра, что это «манифест, а не трактат», в более ранней версии статьи он говорит о ней, что это хотя и не «Манифест», но еще не «Капитал». Помню, в разговоре он был внимателен, и хотя в то время я имел некоторое представление, кто это такой, полное осознание масштаба его личности пришло позднее. Просил его прислать мне статью, отрывок из которой приведен выше, а затем еще и вторую серию той же статьи. К сожалению, я больше не контактировал с ним, хотя в моих сочинениях по философии математики он занимает ведущее место.

Текст ниже представляет отрывок из его крайне важной статьи «Чем не должна быть математическая теория».

Перечитывая эти статьи сегодня¹, я поражен ныне тем обстоятельством, насколько «негативными» кажутся они по своему настрою и своему тону. Обе статьи нацелены на взгляды, философские и ме-

¹ Речь идет о статьях What Numbers Could not Be и Mathematical Truth, которые перепечатаны в известной антологии Benacerraf P. & Putnam H. (eds.). Philosophy of Mathematics. Cambridge University Press, 1983. (В.В.Ц.)

таматематические, которые были в ходу в то время, и которые привлекли меня к философии. Свежие, чистые, непроблематичные, методологически безопасные, эти взгляды были по форме и существу философией нового века, философией, в которой возможен прогресс – философия в смысле идеала Лейбница, где коллективные вычисления заменяют бесконечные идеологические пререкания.

Солдаты на этой войне против сил мрака были объединены общим метафизическим врагом; но не все они думали одинаково. Были трещины в монолите, главнейшая из которых повторяла географический барьер, который обеспечивается Атлантическим океаном. Американская сторона проявляла наиболее ярко выраженный «научный» – на самом деле, сайентистский – взгляд, согласно которому философия науки (включая математику) есть вся философия. Наши лидеры – члены и последователи Венского Кружка, интеллектуальные отпрыски Фреге, Гильберта, Рассела – представляли собой типично американскую компанию: наиболее выдающимися были Карнап, Гемпель, Фейгль, Рейхенбах и Тарский. Были и другие, но я упомянул тех, кого я знал лично, или же косвенно, как это было с Рейхенбахом, через его студента и моего учителя Патнэма.

Принстон был интереснейшим философским местом в 1950 и 1960 гг. в некоторых очевидных отношениях (это было излюбленное место, где молодой Хилари Патнэм носился со своими идеями и неодолимой тягой делиться ими), но также и в других отношениях, которые моя собственная философская близорукость не позволила увидеть в то время. Например, А. Чёрч был местной достопримечательностью, проявляющий свою сущность – монументальный, спокойно сеющий семена несогласия. Рассказ о его роли в развитии философии в середине века был бы замечательной историей.

Была и другая местная фигура, игравшая центральную роль в философской драме того времени. Насколько Чёрч был крупным, настолько эта фигура была маленькой, находящейся в тени, каким он был и в Вене (согласно Крейзелю, хотя словам Крейзеля в таких делах верить трудно). Эта фигура молчаливо слушала, мало говорила – только когда ее вынуждали. В тени, или же не в тени, но она занимала центральное место. Этот человек почитался как Бог, его имя не пачкалось в повседневной борьбе за реконструкцию философии. Но ортодоксы чувствовали при нем некоторое неудобство. Подобно Чёрчу, он не следовал ни за кем, и подобно Чёрчу, он вводил движение в замешательство, поскольку не был идеологически чист, и настаивал на взглядах,

которые выглядели подозрительно метафизически, а ведь метафизика была приговорена к вымиранию.

Это был, конечно, Гёдель. В менее терпимой группе, любой из его грехов, – наиболее знаменитое это стремительное бегство от Программы Гильберта через подтачивание ее изнутри (даже если он и сражался стойко для ее продвижения?) – или же проще, полнейший платонизм и контрреволюционные философские прокламации, должны были бы привести к смещению не только с алтаря, а также к изгнанию из внутреннего круга, но и к исключению из партийного списка. То, что он оставался почитаемой фигурой, вопреки его подрывным взглядам и актам агрессии против нового порядка, является свидетельством исключительной терпимости его апостолов. Большая часть из них были святыми – кто может быть святым в большей степени, чем Карнап или Гемпель? Но даже святые не могут изгнать Бога с Небес. Так что приходится приспосабливаться, и они приспособились, хотя и неохотно. Мы вернемся к Гёделю, потому что центральная нить в философии математики XX века связана с тем, что философски говоря, мы должны извлечь из метаматематических результатов, – и конечно, геделевские результаты как раз под рукой, – и «следствия» их мы должны считать самой сутью природы математики, а себя считать ее практиционерами, и т.д.

Эта небольшая группа философов, главным образом Карнап, но также и другие, создала атмосферу оптимизма и поставила цели, что в свою очередь, имело огромное влияние на развитие новых ключевых фигур (Куайн, Гудмен, Патнэм), и через них на поколения философов здесь и за границей. Поначалу они объединили усилия; позднее, Куайн и Гудмен, а затем и Патнэм стали ренегатами – раскол есть признак всех революционных движений, хороших и плохих. Недавно Патнэм также открыл новых своих предшественников – Дьюи, Пирса, и Джеймса, которых, впрочем, и считал таковыми Куайн.

Вопреки единой оппозиции старой метафизике, внутри движения существовали глубокие идеологические различия, достойные упоминания здесь только для того, чтобы идентифицировать господствующий философский микроклимат, если позаимствовать этнологический неологизм. «Хорошие парни», сайентистские или научные философы, исповедуют философию, которая совершает истинный прогресс, иногда даже устанавливает некоторые утверждения относительно предметной области (методология науки? Даже истинные приверженцы часто находятся в затруднении относительно того, чем могла бы быть

такая предметная область). «Другие парни», большей частью по другую сторону Атлантики, следуя Витгенштейну, имели серьезные расхождения во взглядах на философию, рассматривая ее как нежелательное вторжение в обыденную жизнь обычных людей, которым есть что делать по-настоящему, вторжение, которое неизбежно приводит к путанице и беспорядку. Они более активно – и более пессимистически – были заняты *мета*философскими взглядами. Философия не имеет предмета – она не имеет конструктивной задачи, собственной работы; а вот философы, с другой стороны, имеют задачу (если не работу): очистить завалы, сделанные их предшественниками. В более благородном виде это можно представить так: задача состояла в том, чтобы показать, что все Великие Философские Проблемы были на самом деле псевдовопросами, порожденными неправильным употреблением языка или же его неправомерным расширением. Как только это будет показано, «вопросы» сами уйдут. Ясно, это было карикатурой; но это было время карикатур – вспомним резкую и едкую работу Рассела «Культ Обыденного Употребления»², в которой он предлагал пять причин для возражения против ненаучной и антинаучной философии, которая стала популярной:

1. Потому что она неискренна;
2. Потому что она ведет к оправданию невежества в отношении математики, физики и неврологии тех людей, которые имеют только классическое образование;
3. Потому что она развивается в тоне елейной праведности, как если бы оппозиция такой философии была прегрешением против демократии;
4. Потому что философия при этом становится тривиальной;
5. Потому что это делает почти неизбежным продолжение среди философов тупости, которая заимствована из обыденного здравого смысла.

Это все о плохих парнях. А вот хорошие парни верили:

- в науку и, например, в исследование концепций пространства и времени и причинности через их представление в лучшей науке своего времени;

² Russell B. Portraits from Memory, and Other Essays. – L., 1956. – P. 154.

- в арифметизацию анализа, например, в «редукцию» действительных чисел к рациональным, и рациональных – к натуральным числам (и множествам и последовательностям);

- в анализ в стиле Рассела-Фреге понятия натурального числа и в то, как это служит опровержению Канта через демонстрацию того, что арифметика состоит из аналитических суждений, и что познание этих истин является делом лингвистического знания. И то же самое было истинным о здании, построенном на натуральных числах (достаточно интересно – взгляд, который был выдвинут в отсутствии хорошего объяснения лингвистического знания, чего-то такого, что должно лежать в основании такого взгляда).

- в расселовскую теорию дескрипций;

- в семантическую концепцию истины и в иерархию метаязыков Тарского (порядка $< \omega$, конечно);

- в семейство *c*-функций и в развитие концепции Степеней Подтверждения в качестве (частичного) решения проблемы индукции;

- в Дедуктивно-Номологическую модель научного объяснения;

- даже в более утонченные представления нашего психологического знания, начиная с приблизительно грубого бихевиористского анализа психологических концепций, очищенных через их введение простой или двуязычной редукцией предложений, которые должны окончательно считаться теоретическими терминами в «языке науки», и в итоге частью редуктивного анализа, который объединяет все науки (помните Энциклопедию Единой Науки? Кто может назвать больше, чем два тома в этой серии?);

- (хотя это появилось в позднейшем развитии), в трактовку «методами эмпирических наук» фундаментальных концепций языка, то есть, лингвистики, а именно, значения, указания, синтаксиса и т.д., и отсюда, всех проблем философии, чье разрешение зависит от ответов на вопросы, в которых эти концепции играют важную роль;

- и в бесконечное число подобных вещей...

Суть в том, что эти проблемы имели характер *завершенности*, так что философские проблемы можно было оставлять в покое и двигаться к другим. Естественно, в той степени, в какой «решения» проблем были ключом к более поздним и лучшим результатам науки того времени – короче, эмпирических проблем – была возможность для улучшения взглядов. Но сугубо *философская тайна* исчезла.

Последняя из них – возникновение новой лингвистики – было важно двояко. Во-первых, она была надежным орудием при обращении к лингвистическим вопросам, многие из которых, согласно *кредо*, были в корне философской путаницы. Во-вторых, оно показывало еще раз, как философия могла бы играть роль в развитии знания – нет, в этом случае, не в качестве специальной ветви, или специальным видом знания, а в качестве подготовительной кропотливой работы, которая приводит к новой фактуальной и формальной науке, как это происходило и прежде.

Вот иллюстрация: Хомский опубликовал свою работу *Синтаксические структуры* в 1957 году, которая немедленно стала библией для философов, сначала на Западном Побережье Атлантики, а потом, через влияние Дж. Остина – и на Восточном Побережье, по крайней мере, для тех, кто был заинтересован в репрезентации нашего лингвистического знания (а большинство из нас как раз и были таковыми, поскольку в этом было единственное спасение для *априорного* знания, спасение, которое имело шанс быть совместимым с догмами того времени), и более обще, в систематическом эмпирическом изучении языка.

Как охотно допускал сам Хомский (по крайней мере, часто допускал), его работа многим обязана философии и новой философии в частности. Он был в Университете Пеннсильвании студентом не только Зелига Харриса, но и Нельсон Гудмена. Многое из его ранней работы по генеративному синтаксису было родственным работам логиков, и таким образом, имело привлекательность для философов, которые считали это не только «точным» и проверяемым, но точным и проверяемым в точности потому, что логическая структура утверждений, представленных в генеративной грамматике казалась столь прозрачной, особенно при сопоставлении с более бессистемным подходом к этим вопросам со стороны более традиционных грамматиков. Порождаемые цепочки были либо «приемлемыми» для говорящих, или же неприемлемыми; цепочки, которые приписывались различным структурам, были либо неоднозначными, то есть, имели неэквивалентные прочтения, или же это было не так. Наконец, в этом подходе было нечто более публичное и общее в развитии, чем «интуиция» грамматиков. Первые шаги были в синтаксисе, но (для тех, кто не был опьянен куайновской возможностью такой науки, в которую еще вполне верят) семантика была не за горами. Кто-то был должен соединить атлантический синтаксис с тихоокеанской семантикой для создания теории, которая (подобно синтаксису) была также собст-

венно эмпирической, и все же выходила за пределы «чисто формальной» синтаксической информации, которую обеспечил Хомский. Мы были свидетелями взлета, при помощи философии, еще одной дисциплины.

Такой была философия в 1950–60 гг., или мне казалась она таковой – полной активности, возбуждения, дебатов, часто на грани эйфории. Математическая логика – храм, в котором «хорошие парни» возносили молитвы Гёделю, Чёрчу, Клини, Расселу-Уайтхеду, Тарскому, Тьюрингу, Посту, социологически говоря, все время боролась за признание, и вскоре встала на ноги в департаментах философии и математики по всей стране. (Я не компетентен говорить о Европе, хотя из разговоров с Крейзелем, который был в Сорбонне, и Лакомом, который в то время, если память мне не изменяет, был в лицее в Алжире, возникает безрадостная картина, по крайней мере, если речь идет о Франции). Интеллектуально это был определенно спурт – мы дожили до времени, когда логическая грамотность, (я имею в виду «грамотность», а не экспертизу), «операционально определенную» как способность понять по крайней мере титульную страницу «Журнала символической логики», могла бы быть усилена, если бы логическое образование содержало курсы по теории моделей, теории доказательств, теории рекурсивных функций, и теории множеств – так как:

- вопреки *Значению и необходимости* и пионерской работе Льюиса, Лэнгфорда, Фитча, Баркан Маркус и других, модальная логика еще не достигла респектабельности; но основания уже тряслись от стука копыт;
- скопление кардиналов едва начали привлекать внимание;
- никто еще не работал с чудными кванторами (ветвящимися, множественными, бесконечными), или же играл с ними;
- необычные (но интересные) модели системы аксиом Цермело-Френкеля должны были вскоре подействовать на нас;
- бесконечно малые были все еще фикциями, но сейчас мы уже знаем, как из них можно построить все.

Все это, в дополнение к очень оптимистичной картине философии, вызывало гордость, – сильным перечнем достижений со времени запуска нового кредо, и обещаниями сделать гораздо больше. Мы начинали атаку на то, что считали трудными вопросами в анализе науки –

контрфактические утверждения, номологические утверждения – различие между истинными законами и случайными обобщениями, причинность. Короче, мы были заняты развитием науки о знании, основанном на знании науки. Философия науки было королевой этих ветвей, поскольку в ее распоряжении были средства, приложимые ко всем проблемам.

Две популярные книги провозгласили новый порядок. Это были *Язык, истина и логика* А. Дж. Айера, и *Подъем научной философии* Г. Рейхенбаха. Ни одна из них не была великой книгой, но оба автора были восхитительными представителями духа времени – они протрубили воинственный зов к новой вере в философию, в которой невнятная путаница наших предшественников должна быть заменена возникающей наукой философии. Это новое просвещение должно было отправить на полку старые метафизические взгляды и заменить их новым способом делания философии, при котором мы вычисляем и подтверждаем, делаем подлинные прорывы, основанные на «результатах» других – точно так же, как это делается в математике и физике. Огромная привлекательность нового просвещения заключалась в его простой метафилософии – такой, которая позволила нам делать философию с гордостью.

Но где тут была философия *математики*? В чем заключается математическое познание? Знание чего? Имеет ли математика собственный предмет? Имеет ли дело математика с реальностью, независящей от ума? Или же это творение ума? Или же конвенция? Откуда математика берет свою определенность? Эти вопросы не особенно бросались в глаза. По правде сказать, от них отмахнулись. В той степени, в какой эти вопросы могли вообще считаться (не провоцируя обвинений в ереси) вопросами, партийная линия состояла в том, чтобы отвечать на них в духе Айера:

Мы видим, что нет ничего таинственного в аподиктической определенности логики и математики. Наше знание, что никакое наблюдение не может никогда опровергнуть утверждение « $7+5=12$ », зависит просто от того факта, что символическое выражение « $7+5$ » синонимично с « 12 », точно так же как наше знание, что каждый окулист есть глазной доктор, зависит от того факта, что символ «глазной доктор» есть синоним «окулиста». И то же самое вполне справедливо для истин *a priori*.³

³ Айер А. Дж. *Язык, истина и логика*. – М., Канон+, 2010.

Или Гемпеля:

Можно сказать, что предложения систем математики, как они здесь очерчены, истинны благодаря определениям математических концепций, или что они делают точными определенные характеристики, которыми мы наделяем наши математические концепции с помощью определений. Предложения математики имеют, следовательно, ту же несомненную определенность, которая типична для таких предложений как «Все холостяки неженаты».⁴

Эти взгляды были широко приняты и лежали в основе всех ответов, какие бы эпистемические вопросы при этом не поднимались (исключение представляли философы куайновского толка, которые отвергали вообще все вопросы). И «логическим» основанием для этого потопа философской разменной монеты, принятой и сторонниками Куайна, хотя с различным мнением о его значимости, было хорошо известное (и заслуженно), восхищающее всех «сведение математики к логике».

Мои статьи представляли не просто восстание против этого нового оптимизма, они были скептическим поворотом. Высоты, на которые сподвинул все эти вопросы прогресс, делал все более разочаровывающей невозможность этих взглядов устоять перед критическим анализом. Конечно, все знали, что ничего не было более простым, чем представленный Айером взгляд – *Язык, истина, логика* была скорее *манифестом*, но не теоретическим трактатом движения. Но не был ли Айер хотя бы *приблизительно* прав? Не было ли его представление *в основном* правильным, хотя стряпня из деталей была сделана только для популярного изложения? Почти все думали именно в этом ключе. Версия Гемпеля была более утонченной и поэтому более привлекательной (хотя и равно проблематичной – критика дана в моей статье⁵) – никаких точных утверждений о синонимии выражений, которые явно не были синонимичными, или же о синонимии вообще, просто «определенные характеристики, которыми мы снабжаем наши математические концепции по определению», и кто мог бы поспорить

⁴ Hempel C. On the Nature of Mathematical Truth // Philosophy of Mathematics / eds. Benacerraf P. & Putnam H. – Cambridge University Press, 1983.

⁵ Бенацераф П. Фреге: последний логицист // Логика, онтология, язык – Томск, 2006.

с этим (то есть, до появления *Истины по конвенции* и *Двух догм эмпиризма*⁶)?

Две догмы были наиболее обстоятельным и эффективным вызовом всей этой картине, если эффективность мерить числом и значимостью практиционеров, чье мнение изменилось в ответ на эту статью. Не беря на себя агонизирующую переоценку этой атаки и ее влияния на эволюцию взглядов, нельзя отрицать, что она заклеимила как заразу эпистемические концепции значения, смысла, априори, определенности, необходимости, и тем самым, отвлекло от них внимание, оставив поле более «безопасным» синтаксическим концепциям, а также истине и указанию. Следствием этого был подрыв эпистемических тезисов, сделанных для их развития в логике и математике, а также фокусирование внимания в оценке их философской значимости на точке зрения, ограниченной «незатронутыми заразой» концепциями – истиной, указанием, и возможно, познанием, если бы его можно было дать в «экстенсionalных» терминах. Если атака Куйана была неправильно направлена, то столь же неправильной была наша уступчивость, и как результат этакий мораторий на дискуссию об интенсionalных концепциях. Если бы этого не было, тогда возрождение, которое они недавно претерпели, было бы затруднительным.

⁶ Quine W.V. Truth by Convention // Philosophy of Mathematics / Benacerraf P. & Putnam H. (eds). – Cambridge University Press, 1983. Куйн У.В. Две догмы эмпиризма // С точки зрения логики – М., Канон+, 2010.